НОРМАЛЬНЫЙ, КАК ЯБЛОКО

Главы из биографии Леонида Губанова

В кругу концептуалистов

В 1974 году мастерская художника Бориса Орлова распахнула свои двери и гостеприимно принимала представителей московского анде-  
граунда. Там читали Всеволод Некрасов и Лев Рубинштейн, туда захаживали Губанов, Алейников и Лён. Бывал там и Дмитрий Александрович Пригов.

Именно здесь наш герой знакомится с концептуалистами. Как поэты (и художники) они вряд ли интересовали Губанова, потому что вместо точёных рифм, зубодробительных образов, потрясающей звукописи они видели поэзию (и искусство в целом) как определённый концепт, который можно выразить минимальным содержанием – через фразу, канцелярский текст, схему, жест, ряд советских штампов и что угодно ещё.

Татьяна Михайловская вспоминала об одном из коллективных творений, созданных в мастерской Орлова:

Сохранились машинописные “кунштюки” (бумага уже пожелтела…) того периода, например, длинный – на весь лист – перечень: секретарь парткома… такой-то, секретарь профкома… такой-то, секретарь Сталина… Поскребышев, секретарь Джойса… Беккет, секретарь Пригова… Орлов и так далее до полной глупости: секретарь знамени, секретарь вымени…

Эти «кунштюки» напоминают сразу и полусерьёзные бюрократические списки смогистов со штурмом Кремля, их по-настоящему концептуалистские вывески на вечере в библиотеке им. Фурманова – «Пей сырую воду!» и «Не пей сырую воду!» – и своеобразные тексты Пригова. Один из них называется «Представители красоты в русской истории и культуре»:

1. Самый красивый русский царь – Николай II.

2. Самый красивый русский святой – Дмитрий. <…>

10. Самый красивый русский учёный – Лебедев.

11. Самый красивый русский поэт – Надсон.

12. Самая красивая русская поэтесса – Павлова. <…>

Самый красивый русский человек – Христос.

Нетрудно заметить, что «русскость» у Пригова[[1]](#footnote-1) и компании часто идёт в ироническом ключе. И это не могло не вызвать отторжение у Губанова. Но, несмотря на это, поэты периодически виделись, выпивали, читали друг другу стихи. Точно известно, что было совместное выступление на вечере памяти поэта Николая Шатрова[[2]](#footnote-2). А в остальном – по минимуму.

Лев Рубинштейн размышлял, отчего так произошло:

Я знал Лёню Губанова, Владимира Алейникова. Они были старше вообще ненамного, на пару лет всего. Но почему-то они казались мне людьми другого поколения. Может быть, потому что они стали известны чуть ли не в школьном возрасте. Они такие юные гении были, а я был запоздалый, и я на них смотрел как на старших.

Отношения складывались не очень ещё и потому, что Губанов и Алейников – «сильно пьющие мальчики», как замечал Сапгир. Известно, сколько может выпить русский человек, а уж если он поэт, пиши пропало. Но удивительно, как на фоне тоже пьющих и пьющих немало коллег выделялись смогисты.

Борис Орлов вспоминает о других мастерских – Эрика Булатова и Ильи Кабакова – и тоже отмечает алкогольные нотки:

Пригов легко шёл на завязывание контактов и умел эти контакты надолго сохранять. <…> Первые литераторы, которых он привёл к нам в мастерскую, были литераторы 1960-х годов <…>: Слава Лён, Лёня Губанов, Владимир Алейников… С двумя последними наша дружба не завязалась, они выпить любили.

Владимир Сорокин проговаривает всё это чуть откровенней:

[Московский] андеграунд был разный очень. Этим он отличался от питерского андеграунда, где все варились в одном котле. Были фракции, где пили гораз-  
до больше. Шестидесятники, художники круга Зверева, смогисты: Алейников, Губанов – они пили, конечно, круче, чем мы. Мы больше работали. Я один раз в жизни только попытался написать что-то в пьяном состоянии. Это было вечером. Утром я прочитал и понял, что больше никогда не буду это делать <…>. Сбивается прицел как бы. Хотя вот Губанову это не мешало, да и Есенину, я думаю, тоже.

Один из характерных эпизодов попойки в той компании описывает Борис Козлов:

В голом диване царствует бомонд: Губанов, Алейников, Зверев… Нелепейший из добрейших хозяин со сносным удовольствием потакает метанию посуды в почти закрытое окно… И когда в пространство летит початая «Кубанка», спущенная осуровевшим Тимофеем (одна из зверевских «кликух»), и когда уже жить теперь незачем, и когда все ждут последнего взрыва… – потусторонний тротуар безмолвствует, там никто не убит, а в дверях вдруг возникает всепонимающий стройбатовец со счастливо спасённой бутылкой… Бумеранг возвращается, но Тимофей уже далеко, он «по-доброму» спит меж двух уютных пружин.

Уютные пружины – понятное дело, Губанов и Алейников.

В романах Сорокина

И надо сказать, что если фигуры Губанова, Алейникова и прочих смогистов и их творчество никак не повлияли на Пригова и Рубинштейна, то точно сказались на Владимире Сорокине. Его привлекали те же “нравственные качели”, о которых мы уже говорили, порой смогисты целой толпой врывались в его романы, а иногда нежные женские образы ходили босиком по его текстам.

Сорокин всегда отделял жизнь от искусства, не пытался играть в жизнетворчество. Он рассказывал:

Мы знаем немало случаев, когда люди, в творчестве очень деликатные, в жизни вели себя брутально, как чудовищные свиньи. Скажем, Есенин или Лёня Губанов, писавший о высоком и бывший притом тяжелым алкоголиком. Конечно, их поведение во многом определялось внешними причинами: есенинское было характерно для эпохи русского модерна, а Лёнино – для членов Объединения самых молодых гениев (СМОГ), одним из вдохновителей которого он был. Круг людей, где я оказался двадцатилетним, был совершенно иным. Московские концептуалисты вели не богемный, а достаточно академический образ жизни. Мы были очень заняты, много работали, имели семьи. Всем этим мы отличались и от “смогистов”, и от питерской богемы. Времени для запоев не было, хотя мы могли позволить себе и выпить, и погулять[[3]](#footnote-3).

И несмотря ни на что, смогисты надолго селятся в текстах Сорокина. Вот они проскакивают в «Тридцатой любви Марины» – как борцы за свободу мысли, слова, жеста, действия – и в конце концов России. Один из персонажей – Митя, любовник заглавной Марины, диссидент, тесно общавшийся с Буковским и Есениным-Вольпиным – в приведённом ниже отрывке вспоминает Делоне, Батшева, Вишневскую, Губанова, Каплана[[4]](#footnote-4), Мошкина и других людей из круга смогистов:

[Митя] рассмеялся:

– Да я сейчас чего-то стал начало вспоминать. Как у нас все это закрутилось.

– Когда?

– Давно. Году в шестьдесят седьмом. Когда у памятников читали.

– Смогисты?

– И не только.

Он рассмеялся:

– Боже, какую чушь читали...

– Не помнишь наизусть? – спросила Марина.

– И не хочу вспоминать. Тогда все были на чём-то помешаны. На джазе, на битлах, стихах, турпоходах. А как читали, с ума сойти. Вадик, я помню, свою поэму читал. «Скрипки Мендельсона»[[5]](#footnote-5). Не читал – пел, заходился. И все так. Андрюша: «Реприза, мальчики, реприза. Давайте снова повторять, зальем безводные моря слезами девочек капризных»[[6]](#footnote-6) ... Юлька, Лёня, Мишка. Все нараспев, как акафист.

Он улыбнулся, глядя в окно:

– А пьянки какие устраивались. Помню, у Вовика, мы только-только с ним познакомились. У него две комнаты было, на Рылеева, кажется. И вот, представь, твой покорный слуга пьет из горлышка вино, сидя на полу, рядом гитарист Эльбрус швыряет пустые бутылки об стену, они разлетаются вдребезги над курчавой головой Юльки, она смеется, вся в стеклянных брызгах. А поодаль пьяный Вовик, присев на низенький сервант, держит перед пьяным Валеркой шпалер и уговаривает спрятать.

– Вовик? У него был пистолет?

– Да. Правда – без патронов. А потом – все пьяные наперебой читать. Я, Юлька, Валерка, Андрюша...

Замолчав, он потер переносицу:

– М-да... все перед глазами стоит...

– А демонстрацию первую помнишь?

– А как же.

– Расскажи, ты никогда не рассказывал.

– Ну, собрались у Вовика. Он нам все объяснил. Боря плакат написал. Синим по белому. Доехали на 31-м до театра. Вышли. И тут Алик пошел поссать в подворотню дома, знаешь какого... этих, двух рабочих, погибших в 1905-м году. Вот. Мы ждем. Минут пять прошло, его нет. Ждём дальше. Тут Вовик говорит: «Ладно, ребята, голова не должна страдать». Пошли без него. А тогда снежок порошил, вечер, январь. В шесть подошли к памятнику Пушкина. Встали в кружок. Было два плаката. Один – СВОБОДУ ГИНЗБУРГУ, ГАЛАНСКОВУ, ЛАШКОВОЙ, ДОБРОВОЛЬСКОМУ! Другой... дай бог памяти... ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ СТАТЬИ 190-1! Вот... Взяли. Развернули. Минуты две постояли, и и тут же справа два гебиста. У одного, я помню, галифе, в сапоги заправленные. Он у Вадика стал выдирать плакат, а тот его ... палкой. Тогда Вовик свой свернул и нам: уходим. Пошли к остановке троллейбуса. Подъехал, влезли. А за нами – гебист. Мы вылезли в переднюю дверь и опять в заднюю. И он за нами. Лезет в дверь. Тогда Вовик подбежал и ногой ему впаял. Тот упал, дверь закрылась, троллейбус пошел. А через неделю у меня обыск, потом два вызова, и закрутилось...

Он замолчал, поглаживая узкую руку Марины:

– Главное, никто из нас, кроме Вовика, не понимал, с чем мы имеем дело. Что это не просто продолжение наших поэтических пьянок, а открытое столкновение с чудовищной машиной тоталитарного государства. Словно подошли к дремлющему дракону дети и щелкнули его по носу...

– А он проснулся и огнем на вас дохнул.

– Да...

Митя помрачнел, лицо его осунулось.

Долго молчали.

Он вздохнул:

– Да. Хоть мы и были детьми, дразнящими дракона, наши страдания не бессмысленны...

И помолчав, добавил твердо, словно вырубив:

– Россия поднимется. Я в это верю.

А вот в 1989 году появляется подборка смогистов в газете «Советский цирк». У Губанова выбрали два текста – «Потухая, вытряхали из избы…» (1963) и «Стихотворение о брошенной поэме» (1964). Нас интересует первое – Сорокин вполне мог услышать его на одной из общих тусовок:

Потухая,

Вытряхали из избы

Чей-то крик и чьё-то сломанное тело.

Всю планету избрюхатить и избить –

То ли дело.

Новосёлом было горе и обидчиком,

Шли по сёлам, как по горенке, опричники,

Хохотали, выли песни непристойные,

Животами подымали столики.

Ой-люли, вдова, со печи привстань!

Полюби, вдова, мои уста,

Мои руки, мои губы, буйну кровицу.

Хватит корчить, потаскуха, Богородицу!

У берёзок были слёзы по очам

Белых баб, святых колодцев и хибарок.

Русь стояла на китах да на иванах,

А в историю плыла – на палачах.

Вы уже догадываетесь, с каким текстом Сорокина рифмуется это стихотворение? Не отсюда ли некоторые сцены из «Дня опричника»? Приведём для сравнения фрагмент:

Миг – и закачался Иван Иванович в петле, задергался, захрипел, засопел, запердел прощальным пропердом. Снимаем шапки, крестимся. Надеваем. Ждем, покуда из столбового дух изыдет.

Треть дела сделано. Теперь – жена. Возвращаемся в дом.

– Не до смерти! – как всегда, предупреждает голос Бати.

– Ясное дело, Батя!

И дело это – страстное, нам очень нужное. От него силы на одоление врагов государства Российского прибавляется. И в деле этом сочном своя обстоятельность требуется. По старшинству надобно начинать и кончать. А стало быть – я первый. Бьется вдовица уже покойного Ивана Ивановича на столе, кричит да стонет. Срываю с неё платье, срываю исподнее кружевное, затейливое. Заламывают Поярок с Сиволаем ей ноги белые, гладкие, холеные, держат на весу. Люб-лю я ноги у баб, особливо ляжки да пальцы. У жены Ивана Ивановича ляжки бледные, с прохладцей, а пальчики на ногах нежные, складные, с ноготками холеными, розовым лаком покрытыми. Дергаются бессильные ноги её в сильных руках опричных, а пальчики от напряжения и страху дрожат мелкой дрожью, топорщатся. Знают Поярок с Сиволаем слабости мои – вот и задрожала ступня женская нежная у моего рта, и забираю я в губы дрожащие пальчики, а сам запускаю в лоно её лысого хоря своего. Сладко!

Удивительно, но даже в футфетише возникает пересечение с Губановым, у которого эта тема проникает и в стихотворение «Мы идём с тобой низами…»:

Так целует грешник в страхе

Ножки стёртые – мадонн,

Изнывая, как на плахе,

Когда совесть бьют кнутом.

…и в стихотворение «Опять в душе, где сплетни и плетни…»:

Пусть будет и лохматой и обидчивой,

немножко пьяной, и немножко нежной.

И, пуговицы на пальто отвинчивая,

Пусть у нее сдадут немножко нервы.

Нем. Ножку я поцеловал случайно.

Она была под скатертью, под скатертью.

Да здравствует живое и печальное

лицо твое у памяти на паперти!

…и в стихотворение «Я к ногам твоим бросаюсь…»:

Я к ногам твоим бросаюсь,

Словно одичавший пёс,

Я губами их касаюсь,

Орошаю гроздью слёз.

А они дрожат, трепещут,

Как берёзки на ветру.

О, неслыханные вещи –

Губки алые клевещут,

Что уйду я поутру.

И вообще эта тема с завидной периодичностью появляется в стихах. Образ красивый, сексуальный. Откройте какой-нибудь доступный сборничек Губанова – перечитайте. А мы пока вернёмся к биографии – в зону турбулентности и безвременья – и поговорим о пересечениях с, пожалуй, самым важным прозаиком советского андеграунда.

Венедикт Ерофеев

Аркадий Агапкин рассказывал, как в начале 1972 года у него возникли проблемы с трудоустройством. На помощь пришёл «любимый первенец» Ерофеева – Вадим Тихонов. Он работал бригадиром пропитчиков во Всесоюзном добровольном противопожарном обществе Зарайска. В обязанности этой бригады входилы работы со специальной смесью, которой надо было смазывать и пропитывать чердаки и подвалы.

Работа не пыльная. На этой ниве успели потрудиться многие и многие знакомые и друзья Тихонова. 80% зарплаты уходило ему, а «мёрт-  
вым душам» – штамп в трудовой и оставшиеся 20%.

Впрочем, дадим слово Агапкину:

Трудностей с зачислением Лёни «мертвецом» в бригаду Тихонова не возникло. И где-то с полгода, раз в месяц, мы ездили по маршруту Москва – Голутвин (электричка) – Зарайск (автобус или такси – рубь с носа). Обратно возвращались при деньгах и навеселе.

Сорок рублей за так да небольшая поездочка в Подмосковье – чудо и только!

И то ли Тихонов, то ли Величанский[[7]](#footnote-7) познакомили Ерофеева со смогистами[[8]](#footnote-8). Но вот какое дело: многие говорят об их общении, а конкретики никакой не осталось.

Кублановский рассказывал[[9]](#footnote-9):

Веня помнится как очень яркий, колоритный человек. Но у него были странные вкусы. Однажды утром мы случайно встретились у Центрального телеграфа. Он снимал там где-то какую-то конуру. В 11 часов взяли бутылку водки и пошли к нему. И вот он всё тогда ставил и ставил вышедшую тогда виниловую пластинку Беллы Ахмадулиной – он находил в ней что-то невероятное. Всё говорил: «Ты послушай, послушай!» Тот, кто так любит поэзию Ахмадулиной, вряд ли может увлечься энергичным потоком поэзии Лёни Губанова…

Сохранились прекрасные истории о похождениях Тихонова и Губанова, а Ерофеев в них маячит где-то на периферии. Понятно, что без него нельзя было обойтись. Одну из таких историй поведала Лидия Любчикова:

[Губанов был] совершенно безобразный. И там ещё кто-то, все такие были аферисты – Лёня Губанов, например, сапоги купил тогда у Тихонова дамские <…> для каких-то своих знакомых, [Тихонов] из Владимира привёз свадебные сапоги своей мамаши. Мамаша венчалась в этих сапожках. Тогда были в моде такие сапожки, почти до колен, на хорошеньком каблучке, очень хорошо, красиво сделанные, из хорошей кожи, чёрные, и у них была мода такая – была шнуровка, и, причём, какая – был длинный язык до конца, сюда, а шнуровка идет поверху и причём язык – ну, такой, сильный вырез, что язык тут вот середину закрывает выреза, а тут остаются голые места и по ним вот так вот шнуруется <…> Мамаша дала Тихонову и говорит: «Продай в Москве мои сапоги, может быть, ты мне денег пришлёшь много…» А тут приходит Лёня Губанов. А Тихонов как раз чего-то эти сапоги вытащил, их печально разглядывает: «Куда я с этими сапогами пойду?» Лёня Губанов говорит: «Ну-ка, дай-ка их сюда!» Через пять минут возвращается. «На!» – говорит и даёт пять рублей. <…> ну, тогда, конечно, мамаше никакие эти пять рублей не стали посылать. Я ей потом побольше послала с Тихоновым, когда он поехал. И то не знаю, довёз он или нет.

Ирина Бахчанян, жена известного художника, рассказывала, мол, когда они с Вагричем снимали квартиру на Пушкинской площади, к ним часто заходили по дороге куда-нибудь и откуда-нибудь друзья-знакомые. И Ерофеев, и Губанов, и Марамзин, и Лимонов и т. д.

Дадим слово этой женщине:

Я помню, что однажды у нас была совершенно фантастическая встреча, причем началась она без Вагрича, он в это время был в редакции. Сначала пришел петербургский поэт Сергей Вольф, потом зашел Марамзин, потом – Веня Ерофеев со своим пожарником, потом – Халиф, потом зашёл Лёня Губанов, потом –   
Стацинский. Причём Стацинский пришел с бутылкой очень плохой водки, и для многих эта водка оказалась совершенно не по зубам – можно было отпить, и тут же начинало тебя колотить, потому что она была ни к чему не годная. Когда Вагрич пришёл и увидел всю эту компанию, ему просто стало дурно.

Владимир Ильин рассказывал, как Губанов приводил к нему Ерофеева, и при этом они вместе просто пили чай – настолько тихая, изысканная и светская была атмосфера в доме:

Я помню вечер, когда Лёня привёл Венедикта Ерофеева (где-то за месяц до этого я уже слышал «Москву – Петушки» в его чтении дома у Саши Васильева). Хотя на полке было много редких библиофильских книг (Кузмин, много Ремизова, Клюев, «Петербург» <Белого> и т. д.), Ерофеев в этот вечер взял у меня книгу Андрея Белого «Офейра» – видимо, ему были интересны путевые заметки (как он её вернул – то ли сам, то ли через Губанова, не помню, но вернул точно). Ерофеев был в прекрасной форме, тогда трудно было предугадать его будущее.

Удивительно, что у Ильина ничего из книг не скомуниздили. А может, он просто этого не заметил. И Губанов, и Ерофеев, и их общий друг Тихонов – могли спокойно взять что-то из чужой библиотеки и продать букинистам. Один подобный эпизод расписывала Лидия Любчикова:

У них был Кара-Мурза в знакомых, какой-то родственник вот этих, старинного рода Кара-Мурзы. Они его ограбили жутко тогда. То есть он задумал у себя в доме навести порядок и очень много выбрасывал старых дореволюционных журналов, каких-то совершенно уникальных, книг каких-то. Они ему помогали, вроде под видом того, а сами их воровали и ходили торговали ими. А потом покупали вино, приходили ко мне, а я ещё не знала этого, и, значит, поднимают бокал, чокаются и говорят: «Кара-Мурза, Кара-Мурза». И, значит, пьют. Что за Кара-Мурза такая? Я знала только одного Кара-Мурзу, который написал романс «В небо широкое, глядя задумчиво…» Другого Кара-Мурзу я никакого не знала, говорю: «Неужели это, вот, от этого?» – «Да, это его какой-то там родственник». И вот этого родственника они грабили. То есть совершенно беспардонный народ.

Владимир Алейников в «Седой нити» припоминает эпизод одной культурной посиделки в гостях у Анатолия Зверева. Пока художник спал на расстеленной газете, вокруг него выпивали Венедикт Ерофеев, Сергей Довлатов, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Леонид Губанов, Пётр Беленок, Владимир Пятницкий, Леонард Данильцев. И, конечно, сам Алейников. Но поверить конкретно в это собрание не получается, потому что слишком уж оно туманное, смогистское, придуманное. Наверняка нечто подобное было, но…

Но надо найти достоверные свидетельства, а не обращаться к художественной прозе. За неимением оных обратимся к любопытным параллелям и пересечениям.

Лев Дубницкий, лечащий врач и Губанова, и Ерофеева, уловил такое сходство в самоидентификации:

Если Венечка Ерофеев <…> измерял степень одарённости количеством водки, которой угостил бы поэта («Высоцкому – полный стакан»[[10]](#footnote-10)), то для Л. Г. измерителем служило собственное тело. Андрюха (Вознесенский) – до колен, Евтух (Евтушенко) – по яйца. Вровень с собой ставил только Есенина и Рыжего (Бродского).

Слава Лён по одной ему известной причине решил мистифицировать отношения двух гениев и как-то в 1990-е стал рассказывать, мол, Губанов пропил одну из рукописей Ерофеева:

Если едешь в электричке навеселе, да еще не один, а с пьяным Леней Губановым, – возможно всякое. Рукопись не пропала – она была просто-напросто украдена Губановым и потом продана за бутылку. Сам Ерофеев был убежден, что роман исчез безвозвратно, а те немногие, кто знал об этом, не могли ничего сказать – с Лёней они были связаны клятвенным обещанием молчать.

Естественно, Лёна вскоре поймали на выдумке. Но главное в этой истории, пожалуй, и вынесенные на первый план тесные отношения поэта и прозаика, и сама возможность такой ситуации. Воистину! Если б Лён ничего бы такого не говорил, подобную историю стоило бы выдумать!

При том ритме жизни, который был у неподцензурных литераторов, немудрено было попасть в больницу. Случалось, что оказывались там одновременно и Губанов, и Ерофеев. Андрей Бильжо рассказывал:

Однажды Ерофеев лежал в Кащенко одновременно с Лёней Губановым, но интересно, что они держались в стороне друг от друга. Мне это было как-то странно: мне казалось, что они должны были быть близкими друг другу.

Что могло между ними произойти – вопрос. Может быть, не поделили сферу влияния в рамках одной мастерской? Оба любили быть в центре внимания. Может, кто-то резко высказался в адрес другого? Говорят, в архиве Ирины Губановой хранится то ли пародия на «Москву – Петушки»[[11]](#footnote-11), то ли статья об этой поэме. А могло быть ещё бог знает что.

Губанов, прочитав главный ерофеевский текст, мог приревновать, разглядев в нём заимствования из «Полины». Судите сами – вот для начала известнейший отрывок из «Москвы – Петушков»:

Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости... Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается... Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой – вот какие глаза в мире чистогана...

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса.

С известной долей иронии и одновременной влюблённости в свой народ Ерофеев выдаёт такие пассажи. Литературоведы, конечно, отмечают, что «пустые и выпуклые глаза» восходят к одному образу из стихотворения Пастернака:

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,

Оставленный звездой без продолженья

К недоуменью тысяч шумных глаз,

Бездонных и лишенных выраженья.

Сохранились записные книжки Ерофеева, и в одной из них находятся как раз-таки эти строчки.

Поэма «Москва – Петушки» написана в 1970 году. И можно предположить, что автор, эрудированный, образованный, следящий за современной ему литературой, мог прочесть губановскую «Полину» в самиздате или услышать её чтение самим Губановым или одним из студентов, чтецов, исполнителей бардовской музыки – и зацепиться за эти строчки о «продажных глазах» – по мамлеевскому выражению «в мире голого чистогана» (выписок из стихотворений смогиста не обнаружено, но это не отрицает саму возможность чтения):

Так валят лес. Не веря лету.

Так, проклиная баб и быт,

Опушками без ягод слепнут

Запуганные верой лбы.

Так начинают верить небу

Продажных глаз, сгоревших цифр.

Так опускаются до нэпа

Талантливые подлецы.

Может, Губанов узнал не только позаимствованные строчки, но и себя?

1. Возникает забавная рифма с принципиально важной для Губанова «Юностью». Евгений Попов расписывал: «Я, когда с Приговым познакомился в 1980 году, то совершенно не знал, кто он такой. Ибо был он тогда полностью сформировавшимся продуктом андеграунда, где считалось хорошим тоном сказать: “Стихи твои, товарищ, такое говно, что их можно даже и в журнале “Юность” напечатать». – Подробней см.: Попов Е. Это наш Пригов, это наш Пригов… // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007). М.: Новое литературное обозрение, 2010. [↑](#footnote-ref-1)
2. Николай Владимирович Шатров (1929–1977) – поэт, переводчик, муж советской художницы М.Р. Димзе (1920–2015). [↑](#footnote-ref-2)
3. В вот те же мысли, но в сорокинском эссе «Между»: «С цунами и хаосом все более-менее ясно: энтропия лишает человека бытовой и экзистенциальной опоры, вызывая у него панику и фрустрацию. Хаос в чистом виде любят очень немногие. Хоть Бродский и написал «Ихь либе жизнь и обожаю хаос», сам он, однако, предпочитал комфортный и упорядоченно-предсказуемый стиль жизни. Хаос богемной жизни предполагает опору в творчестве. Модильяни, Верлен, Бодлер, Есенин, Паунд, Зверев, Губанов отдавались хаосу в промежутках между творческими актами, требующими соблюдения четкой иерархии ценностей, мастерства и абсолютного Порядка. Следовательно, чистыми жрецами Хаоса они уже не были». – Подробней см.: Сорокин В.Г. Между // Сноб. UR: https://snob.ru/selected/entry/15403/. [↑](#footnote-ref-3)
4. Упоминается некий Миша, но вряд ли речь идёт о Михаиле Соколове или Михаиле Елизарове: раз затрагивается диссидентский круг, значит, должен быть сподвижник Буковского – Михаил Каплан. [↑](#footnote-ref-4)
5. Сорокин имеет в виду стихотворение «Концерт Мендельсона» Вадима Делоне: «За окном бесконечно и сонно / Дождь осенний шумел монотонно. / Ветер выл и врывался со стоном / В звуки скрипки, в концерт Мендельсона». [↑](#footnote-ref-5)
6. Сорокин цитирует стихотворение Андрея Монастырского, тесно общавшегося со смогистами, ненадолго увлёкшегося фрамизмом, а после отдавшегося концептуализму: «Реприза, мальчики, реприза, / Давайте снова повторять, / Зальём безводные моря / Слезами девочек капризных. // А скрипачи-то, скрипачи, / На расшатавшихся подмостках, / Плыви, плыви печальный остров, / Рахит на клавишах, бренчи!» [↑](#footnote-ref-6)
7. Слава Лён: «Величанский ссорился и мирился с Губановым и Кублановским, познакомил смогистов с Венедиктом Ерофеевым и его гениальными “Петушками...”» –   
   Подробней см.: Лён С. Посмертная слава Величанского // Сайт Александра Величанского. URL: http://a-velichansky.ru/articles/about/slava\_len/.

   О ссорах с Величанским писал Алейников: «…как-то не очень ладили (по какой конкретно причине, теперь сказать невозможно) <…> друг с другом Губанов и Величанский. Ревностно и придирчиво, не скрывая своих настроений, относились один к другому. Подмечали, каждый по-своему, всякий раз, у того, другого, какие-нибудь забавные черты, повадки, словечки – и не ленились этого, другого, изображать, среди своих, разумеется, в дружеском, узком кругу. Но, конечно же, оба они прекрасно, давно понимали, что каждый из них, ревнивцев, задир, – настоящий поэт». – Подробней см.: Алейников В.Д. СМОГ // Собрание сочинений в восьми томах. М.: Рипол-Классик, 2015. Т. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ирина Нагишкина писала: «Из последних встреч. Звонок. Дудинский: “Скорее ко мне, на Академическую, у меня Ерофеев”. Мчимся с Полиной. И так было хорошо: мягкий свет, мало народа, Веничка говорил, что любит Губанова, что будет пьеса “Фанни Каплан”». – Подробней см.: Нагишкина И. [Воспоминание о В.В. Ерофееве.] //   
   Про Веничку: книга воспоминаний. М.: Пробел, 2008. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ю.М. Кублановский рассказывает об этом в фильме «Дуэль с Родиной» (реж. Вяч. Лагунов). [↑](#footnote-ref-9)
10. Василию Белову – ни грамма; Виктору Астафьеву – 15 грамм; Распутину –   
    150 грамм; Владимиру Войновичу – две или четыре рюмки; Андрею Битову – полстакана; Василю Быкову, Алесю Адамовичу, Белле Ахмадулиной, Владимиру Высоцкому –   
    полный стакан; Юлиану Семенову – воды из унитаза. [↑](#footnote-ref-10)
11. Показания Льва Алабина говорят в пользу пародии: «Однажды пришел, а Лёня читает по телефону бесконечный текст в подражание Ерофеевским “Петушкам”. Предлагает и мне послушать. Сижу в кресле слушаю, а он читает в трубку какой-то девушке и какие-то комментарии вставляет еще. Читает с отпечатанных на машинке листов. Читает час... и конца нет. А текст – графоманский. То есть просто поток чуши и белиберды. Говорит, что так Ерофеев может левой рукой написать. Зависть славе Венечки, слышать неприятно. Да и текст настолько больной, что ухожу, не дождавшись конца. А девушке на том конце провода вроде бы нравится». – Подробней см.: Алабин Л. Филон бессмертья // URL: https://proza.ru/2016/07/19/1296 [↑](#footnote-ref-11)